

Сергей Сергеев

КАК ВОЗМОЖНА РУССКАЯ НАЦИЯ?

Судя по электронному каталогу Российской государственной библиотеки, на русском языке не существует ни одной книги с названием «История русской нации» (если только не считать переименованных таким образом при недавнем переиздании «Очерков по истории русской культуры» П.Н. Милюкова). На первый взгляд, это кажется досадной нелепостью, очередной грустной иллюстрацией к пушкинскому: «мы ленивы и нелюбопытны». На самом же деле за этим фактом стоит сама логика русской истории. Ибо вовсе не случайно отечественная историография предпочитает описывать *историю государства Российского*, а не *историю русского народа* (немногочисленные попытки в последнем направлении, начиная с Н.А. Полевого, как правило, далее декларации о намерениях не шли).

Для господства такого подхода существуют вполне объективные причины — почти на всём протяжении нашего прошлого (по крайней мере, с XV в.) главным его действующим лицом была верховная власть, народ же выступал в качестве самостоятельной силы лишь в очень редкие, кризисные эпохи вроде Смут начала XVII и XX веков. Невольно возникает вопрос: *а существовала ли русская нация как таковая?*

Здесь надо сразу пояснить, что автор подразумевает под словом «нация» не особую *этнокультурную* общность

(каковой русские несомненно являлись и являются), а общность *этнополитическую* — народ, выступающий как политический субъект с юридически зафиксированными правами. Нужно также оговориться, что в предлагаемой книге не обсуждаются проблемы *этничности* и её природы — биологической или социальной, на сегодняшнем уровне развития науки однозначного ответа на этот вопрос быть не может. «*Нация — это пакет политических прав*», — лапидарно формулирует современный политолог П.В. Святенков. Именно в этом смысле и понимается нация в современной гуманитарной науке и международном праве. И такое понимание имеет давние корни: в Средние века в Западной Европе нацией (или народом в Восточной Европе) величали социально-политическую элиту данного этноса, обладающую привилегиями, законно признанными монархом.

Например, в Священной Римской империи германской нации «нация» — политическое сообщество немецких князей. В континентальной Европе указанное словоупотребление практиковалось вплоть до Французской революции, а в Польше даже до второй половины XIX в. Но в Англии уже в XVI в. это понятие стало использоваться по отношению ко всему населению, то есть весь этнос *как бы* признавался элитой. Тогда же это новое понимание начало проникать и на континент. Скажем, в изданном в Венгрии латинском трактате «*Tripartitum*» говорится: «Под именем и названием народа... обычно понимают господ, прелатов, баронов и другую знать, равно как и вообще дворян, но не простой народ. Подобает в этот

Статья представляет собой журнальный вариант введения к книге автора «История русской нации», которая готовится к выходу в свет в издательстве «Центрполиграф» в начале 2017 года. Печатается с разрешения издательства.

термин включать в равной мере всех дворян и простолюдины. Народ от простолюдины отличается как род от вида. Имя народа означает вообще дворян, как знать, так и мелких, а также простой народ. Название же плебса подразумевает только простолюдины».

Таким образом, идея единой нации стала «символическим возвышением народа до положения элиты» (Л. Гринфельд). Но с той же Французской революции в Европе (а в Новом свете даже раньше, с революции Американской) пошёл процесс не символического только, но и реального включения в нацию сначала средних, а затем и низших социальных слоёв этноса путём приобретения ими политических прав, ранее доступных только знати. В этом и состоит сущность процесса нациестроительства, захватившего сначала Европу и Америку, а затем и весь мир в XIX–XX столетиях. «Условно говоря, нация — это проект всеобщей аристократии, когда все являются господами... Национализм в его идеальном воплощении — это программа всеобщей аристократизации общества» (К.А. Крылов).

Следует, однако, отметить, что не только *идея* нации имеет европейское происхождение, но и реализовалась она наиболее полно в странах европейской культуры. Тому есть две причины. Первая, духовная — *христианство*. «...Нация, и национализм — типично христианские явления, которые, коль скоро они встречаются где-либо еще, сделались таковыми в процессе вестернизации и подражания христианскому миру, даже если ему подражали в большей степени как западному, а не как христианскому. Единственное подлинное исключение из данного правила, которое я признаю, это евреи», — пишет британский историк Эдриан Гастингс.

И дело не только в наличии архетипической библейской модели нации в виде богоизбранного народа или в созданных, благодаря деятельности христианских церквей, национальных язы-

ках и литературах, о чём подробно рассказывает Гастингс. Безусловное равенство всех человеческих душ перед Богом, признание самоценности каждой человеческой личности, утверждаемое христианством, стало метафизической основой представления о естественности и неотъемлемости гражданских и политических прав для всех членов этноса. Современные историки пришли к выводу, что «та идея естественных прав, создание которой сразу в законченном виде долго приписывалось либеральным мыслителям XVII и XVIII веков, на самом деле принадлежит католическим канонистам, римским папам, профессорам католических университетов и католическим теологам» (Т. Вудс). Характерно, что идеология политической демократии самостоятельно не сформировалась ни в одной другой культуре, кроме европейской.

Вторая причина, социально-юридическая — *феодализм* с его чётко прописанной системой взаимных обязательств вассалов и сеньюров, использующей наследие римского права. Об этом хорошо написал Г.П. Федотов: «В феодальном государстве бароны — не подданные, или не только подданные, но и вассалы. Их отношения к сюзерену определяются договором и обычаем, а не волей монарха. На территории если не всякой, то более крупной сеньории ее глава осуществляет сам права государя над своим крепостным или даже свободным населением. Формула “помещик-государь”, хотя и не свободная от преувеличения, схватывает основную черту этого общества. В нем не один, а тысячи государей, и личность каждого из них — его “тело” — защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имеет право войны против короля... В западной демократии не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаследовал его привилегии (курсив мой. — С.С.). Это равенство в благородстве, а не в бесправии, как на Вос-

токе. “Мужик” стал называть своего соседа Sir и Monsieur, то есть “мой государь”, и уж во всяком случае в обращении требует формы величества: Вы (или Они)».

О том же говорит и классик американской исторической социологии Баррингтон Мур: «...достаточно обоснован тот тезис, что западный феодализм содержал определенные институты, отличавшие его от других обществ в благоприятную для демократии сторону... это постепенный рост иммунитета отдельных групп и персон от власти правителя, а также концепция права на сопротивление несправедливой власти. Наряду с концепцией договора как общего дела, свободно предпринимаемого свободными личностями, выведенной из феодальных отношений вассальной зависимости, этот комплекс идей и практик образует главное наследие, оставленное европейским средневековым обществом современным западным представлениям о свободном обществе. Такой комплекс сложился только в Западной Европе».

(Между прочим, античная демократия также имеет аристократическое происхождение. Так, в Афинах «аристократические духовные ценности... в ходе демократизации полиса... распространились на весь гражданский коллектив, на весь демос... Такие ценности, как политическая свобода, высокая ценность личности, равенство граждан перед законом, коллективный и выборный характер властных органов, прочно вошли в арсенал демократии. Но не следует забывать о том, что зародились эти ценности в аристократической среде и в аристократическую эпоху» (И.Е. Суриков).)

Низы всегда подражают верхам. Правило, работающее в европейской истории, кажется, без исключения: *модель отношений между верховной властью и социально-политической элитой, устойчиво сложившаяся в Средние века, определяет не только характер политического строя государств,*

но и социокультурные поведенческие модели народов, их населяющих, до сего дня.

* * *

Сложность и драматизм русского случая состоит в том, что из двух указанных выше предпосылок нациестроительства в России наличествовала только первая — духовная (но институционализированная далеко не в такой степени, как в странах латинского мира, в силу подчинённости русской Церкви государству). Что до второй, то социальная структура русского общества (особенно начиная с монгольского ига) была далека от европейского феодализма. Власть великих московских князей, а затем и царей, в силу ряда исторических причин сделалась, говоря словами современного историка А.И. Фурсова, «автосубъектной и надзаконной». Независимые общественные слои на Руси либо не сложились, либо пришли в упадок. Московские бояре по отношению к своим государям не обрели статуса вассалов, а были лишь не имеющими никаких гарантированных прав подданными. Следовательно, русскому народу в плане привилегий нечего было унаследовать у своей аристократии (вероятно, именно это имел в виду Пушкин, когда написал: «Феодализма у нас не было, и тем хуже»). Лишь при Екатерине II дворянство Российской империи получило фиксированные права — да и то лишь гражданские, а не политические, и именно после этого началось развитие русского национального самосознания в точном смысле слова. Но самосознанию этому прямо противоречили социально-политические институты империи, предназначенные, как и прежде, для обслуживания «автосубъектной и надзаконной» монархии. И только после революции 1905 г. в России началось строительство основ национального государства, оборванное мировой войной и захватом власти большевиками, восстановившими в новом облики всё ту же надзаконную структуру вла-

сти. От этого многовекового наследствия мы не избавились и по сей день.

Таким образом, русские в течение всей своей истории, за исключением краткого периода 1905–1917 гг., не являлись политической нацией. Они были и остаются «государевыми людьми», *служилым народом*, на плечах которого держались все инкарнации государства Российского — Московское царство, Российская империя, Советский Союз, и держится ныне Российская Федерация. В прошлом и настоящем они обеспечивали внешнеполитические амбиции своих надзаконных правителей и скрепляли за свой счёт единство множества разнообразных нерусских народов, входивших в состав одной из величайших империй в мировой истории. Но никаких политических прав этот «государствообразующий» этнос не имел и не имеет — только обязанности. Верховная власть шесть веков подряд делала все возможное для уничтожения у русских даже намека на институты национального самоуправления. Русские должны были подчиняться непосредственно государству, им не положено было иного коллективизма, кроме спускаемого сверху. У них, как у народа, на котором держится основание империи, вообще не могло быть других интересов, кроме «державных».

Историк А.И. Яковлев накануне 17-го года в беседе с коллегами сострил, что русская государственность стоит на трёх основаниях: «1) русские против внешних врагов сражаются как львы, 2) между собой человек человеку — волк, 3) перед начальством — “чего изволите?”, по-собачьи». Добавим четвёртое — работают как ломовые лошади. По точному замечанию грузинского философа Мераба Мамардашвили: «Россия существует не для русских, а посредством русских...» Взамен власть и её идеологическая обслуга кормит русскую «сивку» разного рода «возвышающими обманами». Перечень последних хорошо известен:

1. Русские — не конкретный этнос, а

таинственный сверхнарод, не имеющий этнического содержания. Русский — прилагательное, а не существительное.

2. Русским не нужны материальные блага и политические права, они должны думать только о высокой духовности и о том, как выполнить свою вселенскую миссию — спасение человечества.

3. Русские — не хозяева России, а «раствор», скрепляющий её единство; не цель в себе, а средство для исполнения великих предназначений начальства.

4. Что бы ни случилось, русские должны терпеть и молча сносить любые притеснения от начальства и иноплеменников — иначе всё рухнет.

5. Без строгого начальства с плёткой русские ни на что хорошее не способны.

В.В. Розанов с замечательной меткостью называл подобную рефлексию «философией выпоротого человека».

* * *

Если всё это так, то зачем же писать книгу об истории русской нации, которой не было, нет и неизвестно, будет ли?

Возможно, автору стоило бы назвать своё сочинение «История *отсутствия* русской нации». Мне представляется, что рассказ о русской истории через призму этого *отсутствия* поможет понять в ней очень важную особенность, не улавливаемую традиционным имперским дискурсом о колонизации бескрайних пространств, блестящих военных победах и грандиозном державном строительстве. Особенность эта состоит в том, что христианский, европейский по культуре своей народ стал главным материальным и человеческим ресурсом для антихристианской, по своей сути, «азиатской» государственности. (Автор — не востоковед, поэтому воздерживается от увлекательного поиска аналогий между социально-политическими институтами Востока и России, но не может не отметить, что описанный А.С. Васильевым в его классической «Истории Востока» феномен «власти-собственности» вполне непо-

хо работает на русском материале. Равно как и веберовский «султанизм» — патримониальное господство, основанное на свободном от традиционных ограничений произволе.) В этом кричащем разрыве между русским сознанием и русским же общественным бытием — главная трагедия нашей жизни.

Указанный разрыв отмечал ещё в конце XVI в. наблюдательный англичанин Джильс Флетчер, разумеется, не без британского высокомерия, но в целом оскорбительно верно: «...они [русские] обладают хорошими умственными способностями, не имея, однако, тех средств, какие есть у других народов для развития их дарований воспитанием и наукой... Отчасти причина этому заключается... в том <...>, что образ их воспитания <...> признается их властями самым лучшим для их государства и наиболее согласным с их образом правления, которое народ едва ли бы стал переносить, если бы получил какое-нибудь образование... равно как и хорошее устройство». О том же разрыве горько и пронзительно написал В.П. Астафьев в частном письме в феврале 1980 г.: «Может быть, мы и не были великими? Может быть, так в детстве и застряли? Стадное чувство, рабство, душевная незрелость, робость перед сильной личностью вроде бы к этому склоняют, но великая культура, небывало самобытное величайшее искусство, созданное за короткий срок, — живое свидетельство зрелости нации».

В разговоре о нации важно понять, что она в идеале — не рой, не стадо, а свободное единство независимых личностей. Но именно последним-то на Руси всегда приходилось трудно. Модель «самодержец — бесправные подданные», по «закону подражания», веками транслировалась сверху вниз на все этажи русского социума. В результате высшей — хотя и неформальной — ценностью последнего стала не личная независимость и свободная солидарность, а возможность властвовать, помыкая нижестоящими, при том, что вы-

шестоящие в свою очередь помыкают тобой. «Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет ещё низшего, который также терпит и также мстит на ему подчиненном», — писал в 1851 г. М.А. Бакунин, а сказано будто о сегодняшнем дне. Так что пресловутая русская атомизированность и нетерпимость друг к другу совершенно закономерны — какие могут быть коллективизм и терпимость между миллионами маленьких самодержцев?

Один из умнейших и оригинальнейших русских людей, знаменитый собиратель олонечких былин и скромный проводник имперской политики в Польше в качестве вице-губернатора города Калиша П.Н. Рыбников писал, что в романах Толстого царит мирозерцание, проникнутое убеждением в ничтожности отдельной личности и растворяющее её в народной массе. «Великий писатель земли русской» изображает и поэтизирует преимущественно покорных судьбе, лишённых всякой инициативы и характера «принижённых» людей (как сказал бы Аполлон Григорьев, «смирный тип»), а мало-мальски самостоятельные и свободно развившиеся индивидуальности либо игнорирует, либо предаёт «злой смерти» (как Андрея Болконского).

Рыбников отчасти согласен с Толстым — да, действительно, преобладающий стиль «русского мира» именно таков, но это не его «онтология», а порождение определённых исторических обстоятельств, когда, начиная с Московского царства, «весь строй жизни стал абсолютистским, высшее сословие превратилось в служилых людей, явилось проклятие крепостного права. Куда было деться самостоятельной личности, что она могла значить перед силой сложившихся вещей?» Вследствие падения гражданской и общественной жизни и религиозная сфера деградировала «с одной стороны, до обрядности, с другой, до фатализма». «Вот почему, — резюми-

рует Павел Николаевич, исходя, видимо, и из собственного богатого жизненного опыта, — образованной русской личности тяжело жить в великорусской жизни. Если она выходит из традиционных рамок, ее гонит в бесплодное отрицание нигилизма; если она приобщается своему племени, ей надобно наложить на себя печать смирения... и отказаться от всякой самостоятельной деятельности, от всякого самостоятельного мышления... Личности нигде развернуться в великорусской жизни... оттого там и жить так тошно».

От этого ощущения («тошно жить») даже и у великих русских людей случались приступы отчаяния. «Скучно, тяжело, и вокруг столь подло и столь глупо, что не знаешь, где и дух перевести, — жаловался в одном из писем 1883 г. Н.С. Лесков. — Не могу себе простить, что я никогда не усвоил себе французского языка в той мере, чтобы на нем работать как на родном. Я бы часа не остался в России и навсегда. Боюсь, что ее можно совсем возненавидеть со всеми ее нигилистами и охранителями. Нет ни умов, ни характеров и ни тени достоинства... С чем же идти в жизнь этому стаду, и вдобавок еще самонящему стаду?»

Проблему личности в «русском мире» осознавал, разумеется, не один Рыбников. Ей посвящена добрая половина отечественной литературной классики XIX столетия — все мы помним из школьной программы про «лишних людей». Но мало кто формулировал её с такой чёткостью, и главное, мало кто так внятно объяснил её генезис. Разве что В.В. Розанов в «Мимолетном» за 1914 год, пытаясь доказать ненужность для Российской империи ненавидимой им в ту пору интеллигенции, дал очень выразительный образ русского бытия, где независимой личности по определению нет места:

«Мужики — пашут.

Солдаты готовы “отразить врага”

*Священники — хоронят, венчают,
крестят. Держат*

“наряд” и “идею” над человеком.

Царь блюдет все. “Да будет все тихо и

Благодатно”.

Египет. Настоящий и полный Египет».

Вот именно — *Египет*, образец восточной, дохристианской деспотии!

Государство как было, так и осталось в России, по сути, главным собственником и главным работодателем, а при таком раскладе независимая личность как более-менее массовый тип решительно невозможна. Во всём этом не было бы трагедии, когда бы русские искренне считали подобное положение дел правильным. Раб, которого не оскорбляют побои, вполне может быть счастлив. Но одно дело — вынужденно подчиняться «силе сложившихся вещей», другое — верить в её справедливость. Большинство никогда не прёт против рожна, но это не значит, что оно этот «рогон» любит всеми фибрами души. Русские — народ христианско-европейской цивилизации, где личность — центр бытия, более того, это народ, создавший одну из величайших христианско-европейских культур, в которой от Владимира Мономаха до Александра Солженицына проникновенно и мощно воспето достоинство человеческой личности как абсолютная ценность. Да и Толстой — ни в творчестве, ни тем более в частной жизни — вовсе не сводится к апологии «приниженности».

Не сознательно, так подсознательно русские ощущают нормой уважительное отношение к себе как к творению Божию с бессмертной душой, а не садомазохистские игры в господ и холопов. И доказательств этому немало в русской истории. Рыбников, как знаток русского фольклора, отмечал, что чувство свободы и независимости личности пронизывает былинный эпос, что вовсе не «смирными» и не «приниженными» были герои последнего, а стало быть, и народ, таких героев почитавший, не может быть сведён к безличной массе. Он напоминал, что в рамки философии

Толстого совершенно не укладываются такие «хищные» (как опять-таки выразился бы Аполлон Григорьев) современники событий, описанных в «Войне и мире», как А.П. Ермолов или М.С. Лунин.

Урожай на сильных, талантливых, инициативных людей среди русских был всегда поразительно высок, и именно они были дрожжами нашего прогресса. Государство этими людьми активно пользовалось, но когда они начинали заявлять претензии на независимость (без которой сила, талант, инициатива развиваться не могут), их либо истребляли, либо выталкивали на периферию, либо заставляли встраиваться в систему, где они через какое-то время чахли или проституировались. В том числе и отсюда прерывистость русского исторического развития, обязательность срыва реформ с последующим переходом в реакцию.

Личная независимость в наших палестинах — цветок как будто редкий и экзотический. Но как характерно, что чуть политический климат начинает теплеть, это растение тут же получает тенденцию к распространению. Стоило самодержавию дать дворянству Манифест о вольности, как уже через двадцать-тридцать лет народилось поколение Пушкина и декабристов, для которого понятие о личной независимости было основой идентичности. Стоило в 1905 году явиться Манифесту о политических и гражданских свободах — и тут же бурно закипела общественная и хозяйственная жизнь, за считанные годы возникла новая, европеизированная Россия, уничтоженная затем пришествием коммунистического Египта.

Беда в том, что нам до сих пор никак не удаётся закрепить наши хаотические освободительные стремления на уровне работающих и воспроизводящихся социальных и политических институтов, создать новую *«силу сложившихся вещей»*, которая поощряла бы дух свободы и независимости, а не да-

вила его. И другая напасть: отечественные борцы за свободу нередко больны *«бесплодным отрицанием нигилизма»*, а порой вольно или невольно копируют обыкновения своего надзаконного супостата: *«Свободных мыслей коноводы / Восточным деспотам сродни»* (П.А. Вяземский).

Есть исследователи, которые пишут в связи с вышесказанным о каком-то особом «властечентризме» русской культуры или даже видят здесь выражение неких прирождённых свойств русского национального характера. Но данное явление всё же не уникально. Джон Стюарт Милль писал в позапрошлом столетии: «Есть нации, у которых страсть повелевать другими настолько преобладает над стремлением сохранить личную независимость, что они даже ради призрачной власти готовы всецело пожертвовать своей свободой. В таком народе каждый человек, подобно простому солдату в армии, охотно отрекается от личной свободы в пользу своего начальника, лишь бы армия торжествовала и ему можно было гордиться тем, что и он — один из победителей, хотя бы его участие во власти, проявляемое над побеждёнными, было совершенно призрачно. Правительство, строго ограниченное в своих полномочиях... не по вкусу такому народу. В его глазах представители власти могут делать всё, что угодно, лишь бы самая власть была открыта для соискательства. Средний человек из этого народа предпочитает надежду (хотя бы отдалённую и невероятную), что он достигнет некоторой власти над своими согражданами, уверенности, что эта власть не будет без нужды вмешиваться в его дела и дела его ближних».

Вы думали, это о русских? Между тем речь идёт о французах эпохи «суверенной демократии» Наполеона III. Сходные социально-политические системы порождают и сходные общественные практики. Но это не значит, что и системы, и практики эти — навсегда. Другое дело, что русский случай

особенно тяжёл — даже при Наполеоне Малом действовал кодекс его великого дяди, обеспечивающий право частной собственности, и, что ещё важнее, среди многих победивших французских революций не было революции коммунистической.

* * *

При том подходе к русской истории, который предлагает автор, понятно, что настрой его сочинения *критический* по преимуществу, но всё же к критике не сводимый. Его «История» — не только *история русских бедствий*, но и *история борьбы русского народа за свое национальное государство*, история многочисленных попыток изменить главенствующее направление русской жизни, достаточно вспомнить хотя бы реформы А.Ф. Адашева и П.А. Столыпина. И в этом смысле речь в книге идёт не только о минувшем, но и о *желательном будущем*.

Эпиграфом к книге могли бы служить глубокие размышления Фридриха Ницше о том, что, «наряду с монументальными и антикварными способами изучения прошлого», «необходим подчас человеку... также третий способ — критический... Человек должен обладать и от времени до времени пользоваться силой разбивать и разрушать прошлое, чтобы иметь возможность жить дальше; этой цели достигает он тем, что привлекает прошлое на суд истории, подвергает последнее самому тщательному допросу и, наконец, выносит ему приговор... Это как бы попытка создать себе a posteriori такое прошлое, от которого мы желали бы происходить в противоположность тому прошлому, от которого мы действительно происходим, — попытка всегда опасная, так как очень нелегко найти надлежащую границу в отрицании прошлого и так как вторая натура по большей части слабее первой. Очень часто дело ограничивается одним пониманием того, что хорошо, без осуществления его на деле, ибо мы иногда знаем то, что является лучшим,

не будучи в состоянии перейти от этого сознания к делу. Но от времени до времени победа все-таки удаётся, а для борющихся, для тех, кто пользуется критической историей для целей жизни, остается даже своеобразное утешение: знать, что та первая природа также некогда была второй природой и что каждая вторая природа, одерживающая верх в борьбе, становится первой».

Важным подспорьем для методологии автора стал также «рационалистический историзм» Пьера Бурдьё, писавшего: «То, что выглядит сегодня очевидным, минуя сознание и выбор, очень часто прежде являлось ставкой в борьбе и утвердилось только в итоге противостояния доминирующих доминируемым. Главным результатом исторического развития является упразднение истории путем возврата к прошлому, т.е. к бессознательному, к скрытым возможностям, которые оказались не реализованными... Докса есть частная точка зрения, точка зрения доминирующих, которая представляет и заставляет признать себя в качестве всеобщей точки зрения; точка зрения тех, кто господствует, подчиняя себе государство, кто сделал из своей точки зрения всеобщую, создавая государство».

То есть, проще говоря, всё «абсолютное», «онтологическое», «само собой разумеющееся», «докса», как выражается Бурдьё, в социальной реальности есть создание рук человеческих, имеющее свою историческую генеалогию, своё начало, заложенное очень часто в произволе победителей. Следовательно, оно может иметь и свой конец, когда победителями станут совсем другие силы и создадут своё «абсолютное», «онтологическое», свою «доксу». Это вселяет надежду на то, что русские могут изменить траекторию своей истории, которая в течение веков делала из них «объект», «средство», «скрепляющий раствор», и стать «субъектом», «целью в самих себе», «зданием».

Недостижимым образцом «критиче-

ской истории» для меня является великий труд Алексиса де Токвиля «Старый порядок и революция», содержащий столь много поразительных параллелей с прошлым и настоящим нашего Отечества. Пафос, вдохновлявший Токвиля, близок и мне: «...признаться, изучая наше старое общество со всех сторон, я никогда полностью не упустил из виду новое общество. Я решил узнать не только от какого недуга скончался больной, но и как он мог бы выжить. Я уподобился тем врачам, которые в каждом отжившем организме пытаются подметить признаки жизни... Так, стоило мне встретить у наших предков одну из тех людских добродетелей, которые пригодились бы нам больше всего и которых у нас почти не осталось — подлинный дух свободы, страсть к великим свершениям, верность себе и делу — я их подчеркивал; равным же образом, обнаружив в законах, представлениях, нравах того времени следы некоторых пороков, которые, совершенно завладев старым обществом, все еще терзают нас, я постарался привлечь к ним внимание, с тем чтобы, отчетливо видя, какое зло они нам причинили, люди лучше поняли, какой вред они еще могут нам нанести».

Если же говорить об отечественных истоках позиции автора, то она наследует исторической концепции декабристов (о которой подробно говорится в пятой главе) и некоторым идеям П.Б. Струве, который будет в дальнейшем неоднократно процитирован.

Заранее отвечая на упреки в необъективности, замечу, что объективность в смысле отсутствия у историка ценностных предпочтений возможна разве только при составлении хронологической таблицы (да и там есть простор для злостного субъективизма). Авторы, воспевающие мощь российской государственности и видящие в служении ей смысл существования русского народа, не менее пристрастны. Историческая наука изначально была идеологизированной и ангажированной, не слу-

чайно профессор-историограф — неизменный (и немаловажный) актер политического поля эпохи модерна. На мой взгляд, историк имеет право не прятать стыдливо свои мировоззренческие предпочтения (которые всё равно проявятся так или иначе — «шила в мешке не утаишь») под маской псевдоакадемизма, а прямо их заявлять. С одной только принципиальной оговоркой: он должен сохранять *sine qua non* своей профессиональной этики — *уважение к факту*. Мы можем сколь угодно вольно комбинировать известные нам данные источников, но мы не должны эти данные выдумывать или замалчивать. Надеюсь, мои мировоззренческие предпочтения не сказались на *качестве* предлагаемого исторического анализа, во всяком случае, из-за них я нигде *сознательно* не искажал фактической стороны дела (хотя, наверняка, и допустил какие-то ошибки).

* * *

И ещё на один возможный упрек хочу ответить заранее, ибо он уже звучал по отношению к моим работам, на основе которых создана эта книга. Точнее сказать, это не упрек, а *обвинение* — в «очернении» русской истории или даже в «руссофобии». Помню, как весной 2009 г. покойный Л.И. Бородин с мрачной удовлетворенностью тем, что, наконец-то удалось раскусить «засланного казачка» и теперь уже совершенно ясны причины «странностей» вроде бы неглупого человека, говорил мне тет-а-тет после прочтения моей статьи «Нация в русской истории»: «*Вы не любите русскую историю*». С той поры нечто подобное, и в гораздо более резкой форме, мне приходится выслушивать и читать в свой адрес регулярно.

Но что значит *любить свою историю*? «Благодарно принимать» всё, что в ней было? Вроде бы к этому призывал Пушкин в неотправленном письме к Чаадаеву: «...клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы... иметь другую историю, кроме истории наших

предков, такой, какой нам бог ее дал»? Но я, рискуя не согласиться с «нашим всем», не вижу никакого патриотизма или тем паче «русофильства» в том, чтобы «любить» такие наполненные невыносимым русским страданием периоды нашего прошлого, как монгольское иго, опричнина, Раскол, петровская революция или людоедство на государственном уровне 1917–1953 годов. Более того, по-моему, «любить» *такое* и есть самая настоящая «русофобия». И мне ближе взгляд, высказанный пушкинским современником и другом — мудрым П.А. Вяземским: «Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое... Я полагаю, что любовь к отечеству должна быть слепа в жертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве; в эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот, какому народу ни принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории отечественной, и не кипел негодованием, видя предрассудки и пороки, свойственные его согражданам? Истинная любовь ревнива и взыскательна. Равнодушный всем доволен, но что от него пользы?»

У наших совершенно обезумевших в последнее время борцов с русофобией серьёзная проблема со зрением: они не различают в России народ и государство, а между тем последнее в ходе русской истории являлось в иные эпохи гораздо более злостным мучителем первого, чем любой иноземный захватчик. Ещё в позапрошлом веке это прекрасно понимали многие патриоты «вне всяких подозрений». Так, славянофил Ф.В. Чижов позволил себе очень сильные выражения на сей счёт в одном из частных писем 1873 г.: «Господи! Господи! Как дорого достались нашему народу государственные порядки. Едва ли какое бы то ни было пленение вавилонское соединяло с собой столько бед, неурядицы, притеснений, поборов. Это просто-запросто были не люди с каким-нибудь понятием о чело-

веческом достоинстве, с какой-нибудь тенью понятий о праве, это просто двуногие животные, которых резали для стола, но резали, душили, казнили, пытали для одного кушанья — правительственного произвола». Знал бы Фёдор Васильевич, что уготовано России в XX столетии...

Историй, написанных *с точки зрения властителей*, у нас довольно, здесь предлагается история *с точки зрения народа*, создавшего великую страну, но так и не ставшего её *хозяином*. Представить критику власти критикой народа — излюбленный приём государственного агитпропа. По словам Б. Мура: «В любом обществе именно господствующим группам приходится больше всего утаивать правду о том, как функционирует общество. Поэтому подлинный анализ часто обречен на то, чтобы иметь критическое звучание, выглядеть скорее как разоблачение, чем как объективное высказывание... Для всех исследователей человеческого общества сочувствие к жертвам исторического процесса и скептицизм в отношении заявлений победителей обеспечивают достаточную защиту против того, чтобы попасть под влияние господствующей идеологии».

Завершить столь затянувшееся предисловие я бы хотел ещё одной цитатой, которую можно было бы поставить эпиграфом к этой книге рядом с приведенным выше пассажем Ницше, на сей раз из русского автора. «*Надо совершенно спокойно — без чванства и высокомерия — сказать: у России свой путь. Путь тяжкий, трагический, но не безысходный в конце концов. Гордиться пока нечем*» (Василий Шукшин, из рабочих записей начала 1970-х годов).

Шукшин, конечно же, не меньше, чем кто-либо, гордился великими достижениями русской классической культуры. Но видел он и то, насколько русское социально-политическое бытие чудовищно далеко от её заветов.